## Теория и практика

О. Генри

Перевод М. Богословской

Весна подмигнула редактору журнала «Минерва» прозрачным стеклянным глазком и совратила его с пути. Он только что позавтракал в своем излюбленном ресторанчике, в гостинице на Бродвее, и возвращался к себе в редакцию, но вот тут и увяз в путах проказницы весны. Это значит, если сказать попросту, что он свернул направо по Двадцать шестой улице, благополучно перебрался через весенний поток экипажей на Пятой авеню и углубился в аллею распускающегося Мэдисон-сквера.

В мягком воздухе и нежном убранстве маленького парка чувствовалось нечто идиллическое; всюду преобладал зеленый цвет, основной цвет первозданных времен — дней сотворения человека и растительности. Тоненькая травка, пробивающаяся между дорожками, отливала медянкой, ядовитой зеленью, пронизанной дыханием множества бездомных человеческих существ, которым земля давала приют летом и осенью. Лопающиеся древесные почки напоминали что-то смутно знакомое тем, кто изучал ботанику по гарниру к рыбным блюдам сорокапятицентового обеда. Небо над головой было того бледно-аквамаринового оттенка, который салонные поэты рифмуют со словами «тобой», «судьбой» и «родной». Среди всей этой гаммы зелени был только один натуральный, беспримесный зеленый цвет — свежая краска садовых скамеек, нечто среднее между маринованным огурчиком и прошлогодним дождевым плащом, который пленял покупателей своей иссиня-черной блестящей поверхностью и маркой «нелиняющий».

Однако на городской взгляд редактора Уэстбрука пейзаж представлял собою истинный шедевр.

А теперь, принадлежите ли вы к категории опрометчивых безумцев или нерешительных ангельских натур, вам придется последовать за мной и заглянуть на минутку в редакторскую душу.

Душа редактора Уэстбрука пребывала в счастливом, безмятежном покое. Апрельский выпуск «Минервы» разошелся весь целиком до десятого числа — торговый агент из Кеокука сообщил, что он мог бы сбыть еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него были. Издатели — хозяева журнала — повысили ему (редактору) жалованье. Он только что обзавелся превосходной, недавно вывезенной из провинции кухаркой, до смерти боявшейся полисменов. Утренние газеты полностью напечатали его речь, произнесенную на банкете издателей. Вдобавок ко всему в ушах его еще звучала задорная мелодия чудесной песенки, которую его прелестная молодая жена спела ему сегодня утром, перед тем как он ушел из дому. Она последнее время страшно увлекалась пением и занималась им очень прилежно, с раннего утра. Когда он поздравил ее, сказав, что она сделала большие успехи, она бросилась ему на шею и чуть не задушила его в объятиях от радости, что он ее похвалил. Но, помимо всего прочего, он ощущал также и благотворное действие живительного лекарства опытной сиделки Весны, которое она дала ему, тихонько проходя по палатам выздоравливающего города.

Шествуя не торопясь между рядами скамеек (на которых уже расположились бродяги и блюстительницы буйной детворы), редактор Уэстбрук почувствовал вдруг, как кто-то схватил его за рукав. Полагая, что к нему пристал какой-нибудь попрошайка, он повернул к нему холодное, ничего не обещающее лицо и увидел, что его держит за рукав Доу — Шеклфорд Доу, грязный, обтрепанный, в котором уже почти не осталось и следа от человека из приличного общества.

Пока редактор приходит в себя от изумления, позволим читателю бегло познакомиться с биографией Доу.

Доу был литератор, беллетрист и давнишний знакомый Уэстбрука. Когда-то они были приятелями. Доу в то время был человек обеспеченный, жил в приличной квартире, по соседству с Уэстбруками. Обе супружеские четы часто ходили вместе в театр, устраивали семейные обеды. Миссис Доу и миссис Уэстбрук были закадычными подругами.

Но вот однажды некий спрут протянул свои щупальца и, разыгравшись, проглотил невзначай скромный капитал Доу, после чего Доу пришлось перебраться в район Грэмерси-парка, где за несколько центов в неделю можно сидеть на собственном сундуке перед камином из каррарского мрамора, любоваться на восьмисвечные канделябры да смотреть, как мыши возятся на полу. Доу рассчитывал жить при помощи своего пера. Время от времени ему удавалось пристроить какой-нибудь рассказик. Немало своих произведений он посылал Уэстбруку. «Минерва» напечатала одно-два, все остальные вернули автору. К каждой отвергнутой рукописи Уэстбрук прилагал длинное, тщательно обдуманное письмо, подробно излагая все причины, по которым он считал данное произведение не пригодным к печати. У редактора Уэстбрука было свое, совершенно твердое представление о том, из каких составных элементов получается хорошая художественная проза. Так же как и у Доу. Что касается миссис Доу, ее больше интересовали составные элементы скромных обеденных блюд, которые ей с трудом приходилось сочинять. Как-то раз Доу угощал ее пространными рассуждениями о достоинствах некоторых французских писателей. За обедом миссис Доу положила ему на тарелку такую скромную порцию, какую проголодавшийся школьник проглотил бы, не поперхнувшись, одним глотком. Доу выразил на этот счет свое мнение.

— Это паштет Мопассан, — сказала миссис Доу. — Я, конечно, предпочла бы, пусть это даже и не настоящее искусство, чтобы ты сочинил что-нибудь вроде романа в сериях Мариона Кроуфорда, по меньшей мере, из пяти блюд и с сонетом Эллы Уилер Уилкокс на сладкое. Ты знаешь, мне ужасно есть хочется.

Так процветал Шеклфорд Доу, когда он столкнулся в Мэдисон-сквере с редактором Уэстбруком и схватил его за рукав. Это была их первая встреча за несколько месяцев.

— Как, Шек, это вы? — воскликнул Уэстбрук и тут же запнулся, ибо восклицание, вырвавшееся у него, явно подразумевало разительную перемену во внешности его друга.

— Присядьте-ка на минутку, — сказал Доу, дергая его за обшлаг. — Это моя приемная. В вашу я не могу явиться в таком виде. Да сядьте же, прошу вас, не бойтесь уронить свой престиж. Эти общипанные пичуги на скамейках примут вас за какого-нибудь роскошного громилу. Им и в голову не придет, что вы всего-навсего редактор.

— Покурим, Шек? — предложил редактор Уэстбрук, осторожно опускаясь на ядовито-зеленую скамью. Он всегда сдавался не без изящества, если уж сдавался.

Доу схватил сигару, как зимородок пескаря или как юная девица шоколадную конфетку.

— У меня, видите ли, только... — начал было редактор.

— Да, знаю, можете не договаривать. У вас всего только десять минут в вашем распоряжении. Как это вы ухитрились обмануть бдительность моего клерка и ворваться в мое святилище? Вон он идет, помахивая своей дубинкой и готовясь обрушить ее на бедного пса, который не может прочесть надписи на дощечке «По траве ходить воспрещается».

— Как ваша работа, пишете? — спросил редактор.

— Поглядите на меня, — сказал Доу — Вот вам ответ. Только не стройте, пожалуйста, этакой искренно соболезнующей, озабоченной мины и не спрашивайте меня, почему я не поступлю торговым агентом в какую-нибудь винодельческую фирму или не сделаюсь извозчиком. Я решил вести борьбу до победного конца. Я знаю, что я могу писать хорошие рассказы, и я заставлю вас, голубчиков, признать это. Прежде чем я окончательно расплююсь с вами, я отучу вас подписываться под сожалениями и научу выписывать чеки.

Редактор Уэстбрук молча смотрел через стекла своего пенсне кротким, скорбным, проникновенно-сочувствующе-скептическим взором редактора, одолеваемого бездарным автором.

— Вы прочли последний рассказ, что я послал вам, «Пробуждение души»? — спросил Доу.

Очень внимательно. Я долго колебался насчет этого рассказа, Шек, можете мне поверить. В нем есть несомненные достоинства. Я все это написал вам и собирался приложить к рукописи, когда мы будем посылать ее вам обратно. Я очень сожалею...

— Хватит с меня сожалений, — яростно оборвал Доу. — Мне от них ни тепло, ни холодно. Мне важно знать, чем они вызваны. Ну, выкладывайте, в чем дело, начинайте с достоинств.

Редактор Уэстбрук подавил невольный вздох.

— Ваш рассказ, — невозмутимо начал он, — построен на довольно оригинальном сюжете. Характеры удались вам как нельзя лучше. Композиция тоже очень недурна, за исключением нескольких слабых деталей, которые легко можно заменить или исправить кой-какими штрихами. Это был бы очень хороший рассказ, но...

— Значит, я могу писать английскую прозу? — перебил Доу.

— Я всегда говорил вам, что у вас есть стиль, — отвечал редактор.

— Так, значит, все дело в том...

— Все в том же самом, — подхватил Уэстбрук. — Вы разрабатываете ваш сюжет и подводите к развязке, как настоящий художник. А затем вдруг вы превращаетесь в фотографа. Я не знаю, что это у вас — мания или какая-то форма помешательства, но вы неизменно впадаете в это всякий раз, что бы вы ни писали. Нет, я даже беру обратно свое сравнение с фотографом. Фотографии, несмотря на немыслимую перспективу, все же удается кой-когда запечатлеть хоть какой-то проблеск истины. Вы же всякий раз, как доводите до развязки, портите все какой-то грязной, плоской, уничтожающей мазней; я уже столько раз указывал вам на это. Если бы вы в ваших драматических сценах держались на соответственной литературной высоте и изображали бы их в тех возвышенных тонах, которых требует настоящее искусство, почтальону не приходилось бы вручать вам так часто толстые пакеты, возвращающиеся по адресу отправителя.

— Экая ходульная чепуха! — насмешливо фыркнул Доу. — Вы все еще никак не можете расстаться со всеми этими дурацкими вывертами отжившей провинциальной драмы. Ну ясно, когда черноусый герой похищает златокудрую Бесси, мамаша выходит на авансцену, падает на колени и, воздев руки к небу, восклицает: «Да будет Всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший мое дитя, не испытает на себе всей силы материнского отмщения!»

Редактор Уэстбрук невозмутимо улыбнулся спокойной, снисходительной улыбкой.

— Я думаю, что в жизни, — сказал он, — женщина, мать выразилась бы вот именно так или примерно в этом роде.

— Да ни в каком случае, ни в одной настоящей человеческой трагедии, — только на подмостках. Я вам скажу, как она реагировала бы в жизни. Вот что она сказала бы: «Как! Бесси увел какой-то незнакомый мужчина? Боже мой, что за несчастье! Одно за другим! Дайте мне скорей шляпу, мне надо немедленно ехать в полицию. И почему никто не смотрел за ней, хотела бы я знать? Ради бога, не мешайтесь, уйдите с дороги, или я никогда не соберусь. Да не эту шляпу, коричневую с бархатной лентой. Бесси, наверно, с ума сошла! Она всегда так стеснялась чужих! Я не слишком напудрилась? Ах, боже мой! Я прямо сама не своя!»

— Вот как она реагировала бы, — продолжал Доу. — Люди в жизни, в минуту душевных потрясений, не впадают в героику и мелодекламацию. Они просто не способны на это. Если они вообще в состоянии говорить в такие минуты, они говорят самым обыкновенным, будничным языком, разве что немножко бессвязней, потому что у них путаются мысли и слова.

— Шек, — внушительно произнес редактор Уэстбрук, — случалось ли вам когда-нибудь вытащить из-под трамвая безжизненное, изуродованное тело ребенка, взять его на руки, принести и положить на колени обезумевшей от горя матери? Случалось ли вам слышать при этом слова отчаянья и скорби, которые в эту минуту сами собой срывались с ее губ?

— Нет, не случалось, — отвечал Доу. — А вам случалось?

— Да нет, — слегка поморщившись, промолвил редактор Уэстбрук. — Но я прекрасно представляю себе, что она сказала бы.

— И я тоже, — буркнул Доу.

И тут для редактора Уэстбрука настал самый подходящий момент выступить в качестве оракула и заставить умолкнуть несговорчивого автора. Мыслимо ли позволить неудавшемуся прозаику вкладывать в уста героев и героинь журнала «Минерва» слова, не совместимые с теориями главного редактора?

— Дорогой мой Шек, — сказал он, — если я хоть что-нибудь смыслю в жизни, я знаю, что всякое неожиданное, глубокое, трагическое душевное потрясение вызывает у человека соответственное, сообразное и подобающее его переживанию выражение чувств. В какой мере это неизбежное соотношение выражения и чувства является врожденным, в какой мере оно обусловливается влиянием искусства, это трудно сказать. Величественное, гневное рычанье львицы, у которой отнимают детенышей, настолько же выше по своей драматической силе ее обычного воя и мурлыканья, насколько вдохновенная, царственная речь Лира выше его старческих причитаний. Но наряду с этим всем людям, мужчинам и женщинам, присуще какое-то, я бы сказал, подсознательное драматическое чувство, которое пробуждается в них под действием более или менее глубокого и сильного переживания; это чувство, инстинктивно усвоенное ими из литературы или из сценического искусства, побуждает их выражать свои переживания подобающим образом, словами соответствующими силе и глубине чувства.

— Но откуда же, во имя всех небесных туманностей, черпает свой язык литература и сцена? — вскричал Доу.

— Из жизни, — победоносно изрек редактор.

Автор сорвался с места, красноречиво размахивая руками, но явно не находя слов для того, чтобы подобающим образом выразить свое негодование.

На соседней скамье какой-то оборванный малый, приоткрыв осоловелые красные глаза, обнаружил, что его угнетенный собрат нуждается в моральной поддержке.

— Двинь его хорошенько, Джек, — прохрипел он. — Этакий шаромыжник, пришел в сквер и бузит. Не дает порядочным людям спокойно посидеть и подумать.

Редактор Уэстбрук с подчеркнутой невозмутимостью посмотрел на часы.

— Но объясните мне, — в яростном отчаянии накинулся на него Доу, — в чем, собственно, заключаются недостатки «Пробуждения души», которые не позволяют вам напечатать мой рассказ.

— Когда Габриэль Мэррей подходит к телефону, — начал Уэстбрук, — и ему сообщают, что его невеста погибла от руки бандита, он говорит, я точно не помню слов, но...

— Я помню, — перебил Доу. — Он говорит: «Проклятая Центральная, вечно разъединяет. (И потом своему другу.) Скажите, Томми, пуля тридцать второго калибра это что, большая дыра? Надо же, везет как утопленнику! Дайте мне чего-нибудь хлебнуть, Томми, посмотрите в буфете, да нет, чистого, не разбавляйте».

— И дальше, — продолжал редактор, уклоняясь от объяснений, — когда Беренис получает письмо от мужа и узнает, что он бросил ее и уехал с маникюршей, она, я сейчас припомню...

— Она восклицает, — с готовностью подсказал автор: — «Нет, вы только подумайте!»

— Бессмысленные, абсолютно неподходящие слова, — отозвался Уэстбрук. — Они уничтожают все, рассказ превращается в какой-то жалкий, смехотворный анекдот. И хуже всего то, что эти слова являются искажением действительности. Ни один человек, внезапно настигнутый бедствием, не способен выражаться таким будничным, обиходным языком.

— Вранье! — рявкнул Доу, упрямо сжимая свои небритые челюсти. — А я говорю — ни один мужчина, ни одна женщина в минуту душевного потрясения не способны ни на какие высокопарные разглагольствования. Они разговаривают, как всегда, только немножко бессвязней.

Редактор поднялся со скамьи с снисходительным видом человека, располагающего негласными сведениями.

— Скажите, Уэстбрук, — спросил Доу, удерживая его за обшлаг, — а вы приняли бы «Пробуждение души», если бы вы считали, что поступки и слова моих персонажей в тех ситуациях рассказа, о которых мы говорили, не расходятся с действительностью?

— Весьма вероятно, что принял бы, если бы я действительно так считал, — ответил редактор. — Но я уже вам сказал, что я думаю иначе.

— А если бы я мог доказать вам, что я прав?

— Мне очень жаль, Шек, но боюсь, что у меня больше нет времени продолжать этот спор.

— А я и не собираюсь спорить, — отвечал Доу. — Я хочу доказать вам самой жизнью, что я рассуждаю правильно.

— Как же вы можете это сделать? — удивленно спросил Уэстбрук.

— А вот послушайте, — серьезно заговорил автор. — Я придумал способ. Мне важно, чтобы моя теория прозы, правдиво отображающей жизнь, была признана журналами. Я борюсь за это три года и за это время прожил все до последнего доллара, задолжал за два месяца за квартиру.

— А я, выбирая материал для «Минервы», руководился теорией, совершенно противоположной вашей, — сказал редактор. — И за это время тираж нашего журнала с девяноста тысяч поднялся...

— До четырехсот тысяч, — перебил Доу, — а его можно было бы поднять до миллиона.

— Вы, кажется, собирались привести какие-то доказательства в пользу вашей излюбленной теории?

— И приведу. Если вы пожертвуете мне полчаса вашего драгоценного времени, я докажу вам, что я прав. Я докажу это с помощью Луизы.

— Вашей жены! Каким же образом? — воскликнул Уэстбрук.

— Ну, не совсем с ее помощью, а, вернее сказать, на опыте с ней. Вы знаете, какая любящая жена Луиза и как она привязана ко мне. Она считает, что вся наша ходкая литературная продукция — это грубая подделка, и только я один умею писать по-настоящему. А с тех пор как я хожу в непризнанных гениях, она стала мне еще более преданным и верным другом.

— Да, поистине ваша жена изумительная, несравненная подруга жизни, — подтвердил редактор. — Я помню, она когда-то очень дружила с миссис Уэстбрук, они прямо-таки не расставались друг с другом. Нам с вами очень повезло, Шек, что у нас такие жены. Вы должны непременно прийти к нам как-нибудь на днях с миссис Доу; поболтаем, посидим вечерок, соорудим какой-нибудь ужин, как, помните, мы, бывало, устраивали в прежнее время.

— Хорошо, когда-нибудь, — сказал Доу, — когда я обзаведусь новой сорочкой. А пока что вот какой у меня план. Когда я сегодня собрался уходить после завтрака — если только можно назвать завтраком чай и овсянку, — Луиза сказала мне, что она пойдет к своей тетке на Восемьдесят девятую улицу и вернется домой в три часа. Луиза всегда приходит минута в минуту. Сейчас...

Доу покосился на карман редакторской жилетки.

— Без двадцати семи три, — сказал Уэстбрук, взглянув на часы.

— Только-только успеть... Мы сейчас же идем с вами ко мне. Я пишу записку и оставляю ее на столе, на самом виду, так что Луиза сразу увидит ее, как только войдет. А мы с вами спрячемся в столовой, за портьерами. В этой записке будет написано, что я расстаюсь с ней навсегда, что я нашел родственную душу, которая понимает высокие порывы моей артистической натуры, на что она, Луиза, никогда не была способна. И вот, когда она прочтет это, мы посмотрим, как она будет себя вести и что она скажет.

— Ни за что, — воскликнул редактор, энергично тряся головой. — Это же немыслимая жестокость. Шутить чувствами миссис Доу, — нет, я ни за что на это не соглашусь.

— Успокойтесь, — сказал автор. — Мне кажется, что ее интересы дороги мне, во всяком случае, не меньше, чем вам. И я в данном случае забочусь столько же о ней, сколько о себе. Так или иначе, я должен добиться, чтобы мои рассказы печатались. А с Луизой от этого ничего не случится. Она женщина здоровая, трезвая. Сердце у нее работает исправно, как девяностовосьмицентовые часы. И потом, сколько это продлится — минуту... я тут же выйду и объясню ей все. Вы должны согласиться, Уэстбрук. Вы не вправе лишать меня этого шанса.

В конце концов редактор Уэстбрук, хоть и неохотно и, так сказать, наполовину, дал свое согласие. И эту половину следует отнести за счет вивисектора, который, безусловно, скрывается в каждом из нас. Пусть тот, кто никогда не брал в руки скальпеля, осмелится подать голос. Все горе в том, что у нас не всегда бывают под рукой кролики и морские свинки.

Оба искусствоиспытателя вышли из сквера и взяли курс на восток, потом повернули на юг и через некоторое время очутились в районе Грэмерси. Маленький парк за высокой чугунной оградой красовался в новом зеленом весеннем наряде, любуясь своим отражением в зеркальной глади бассейна. По ту сторону ограды выстроившиеся прямоугольником потрескавшиеся дома — покинутый приют отошедших в вечность владельцев — жались друг к другу, словно шушукающиеся призраки, вспоминая давние дела исчезнувшей знати. Sic transit gloria urbis.[[1]](#footnote-1)

Пройдя примерно два квартала к северу от парка, Доу с редактором опять взяли курс на восток и вскоре очутились перед высоким узким домом с безвкусно разукрашенным фасадом. Они взобрались на пятый этаж, и Доу, едва переводя дух, достал ключ и открыл одну из дверей, выходивших на площадку. Когда они вошли в квартиру, редактор Уэстбрук с чувством невольной жалости окинул взглядом убогую и скудную обстановку.

— Берите стул, если найдете, — сказал Доу, — а я пока поищу перо и чернила. Э, что это такое? Записка от Луизы, по-видимому, она оставила мне, когда уходила.

Он взял конверт со стола, стоявшего посреди комнаты, и, вскрыв его, стал читать письмо. Он начал читать вслух и так и читал до конца. И вот что услышал редактор Уэстбрук:

«Дорогой Шеклфорд!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже за сотню миль от тебя и все еще буду ехать. Я поступила в хор Западной оперной труппы, и сегодня в двенадцать часов мы отправляемся в турне. Я не хочу умирать с голоду и поэтому решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я не вернусь к тебе больше. Мы едем вместе с миссис Уэстбрук.

Она говорит, что ей надоело жить с агрегатом из фонографа, льдины и словаря и что она также не вернется. Мы с ней два месяца практиковались потихоньку в пении и танцах. Я надеюсь, что ты добьешься успеха и все будет хорошо.

Прощай.

Луиза».

Доу уронил письмо и, закрыв лицо дрожащими руками, воскликнул потрясенным, прерывающимся голосом:

— *Господи Боже, за что Ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех Твоих небесных даров — вера, любовь — станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!*

Пенсне редактора Уэстбрука свалилось на пол. Растерянно теребя пуговицу пиджака, он бормотал посиневшими губами:

— *Послушайте, Шек, ведь это черт знает что за письмо! Ведь этак можно человека с ног сбить. Да ведь это же черт знает что такое! А? Шек?*

1. Так проходит слава городов (*лат.*). [↑](#footnote-ref-1)